

Нина, дочь Цви

Владимир Ханелис, Бат-Ям

Странная у нас получилась беседа с госпожой Ниной Прейгерзон-Липовецкой, странная. Я спрашивал, где и когда она родилась, училась, когда и где почувствовала себя еврейкой, сионисткой, как уехала в Израиль... А она, отвечая, рассказывала не о себе, а о своем отце – писателе, ученом Цви Прейгерзоне.



Лея и Цви Прейгерзон, 1934

Цви (Григорий) Прейгерзон был замечательным, прежде всего – очень счастливым человеком. Счастливым – потому что всю жизнь был влюблен. Счастливым потому, что предмет его любви, иврит, ответил ему взаимностью. Большое счастье для влюбленного человека, когда предмет любви отвечает взаимностью. Безответная любовь калечит человека, портит его жизнь.

О Цви Прейгерзоне ко времени нашей беседы я знал многое. Читал его книги, на иврите и в переводе на русский, читал статьи о его жизни и отзывы о его творчестве литераторов, критиков, переводчиков А. Элинсона (Белова), А. Тарна, Р. Торпусман, И. Минца, М. Занда, Л. Алон, Ш. Шалит, А Белоусова, М. Хейфеца; ивритских писателей Аарона Мегеда, Моше Шамира и других авторов.

Что еще я мог прибавить к истории жизни человека, родившегося в 1900 году в украинском местечке Шепетовка, в 13 лет приплывшего в Эрец-Исраэль по рекомендации Хаима-Нахмана Бялика (в теплом пальто и с единственнным рублем в кармане), учившегося всего год в тель-авивской гимназии "Герцлия", а затем – в одесской иешиве и консерватории по классу скрипки, окончившего там русскую гимназию и Горный институт в Москве?

Что еще я мог добавить после его воспоминаний, воспоминаний людей, сидевших с ним в советском лагере? Можно ли еще что-либо добавить к его словам о любви к родному языку: "В тюрьме я дал клятву, что не оставлю иврит, и я исполняю ее по сей день, пусть даже арестуют меня во второй и третий раз. До последнего дыхания моя любовь и вся моя душа отданы ивриту"?



Ц. Прейгерзон с семьей за месяц до ареста. Слева направо: Биньямин, Нина, Лея, Аталия, Цви. Москва, февр. 1949



Книги Ц.Прейгерзона на русском и иврите

Что еще можно добавить к рассказам израильских дипломатов о том, как они тайно вывозили из Москвы его рукописи, как в Израиле с восторгом принимали все новые произведения "самого северного писателя на иврите" – "+А. Цфони"?

Что еще можно добавить к словам ивритского писателя Моше Шамира: "Цви Прейгерзон – это недостающее звено в ивритской литературе, он заполняет тот самый промежуток, который мы ощущали все эти годы, - ++вакуум где-то между Агноном и Хазазом... У меня такое впечатление, что вообще вся израильская литература после 20-х – 30-х годов выглядела бы иначе, если бы Цви Прейгерзон приехал сюда и писал бы и печатался здесь". Прах Цви Прейгерзона, перезахоронен в Израиле, в кибуце Шфаим, его именем названа улица в Тель-Авиве, изданы его произведения на иврите и русском в Израиле, России.

... В беседе с Ниной Григорьевной мне хотелось побольше узнать о ней самой. Но она рассказывала об отце. Однако я снова, как мне показалось, с немного раздражающим ее упорством, продолжал "гнуть свою линию". Вот что получилось в результате этой странной беседы.

- Ваши покойные сестра и брат носили библейские имена – Аталия, Биньямин. Почему же вас назвали Ниной?

- В 1925 году отец женился на Лее Зейгерман. Она участвовала в работе сионистских кружков – там они и познакомились. За активную деятельность мама получила от общества "Маккаби" сертификат на въезд в Палестину. Желающих уехать было много, а сертификатов – мало. Их выдавали только самым активным сионистам. Но мама вышла замуж за папу, и уехала с ним в Москву. Драгоценный сертификат достался ее брату Грише.

В 1930 отец получил от Московского горного института, в котором он тогда преподавал, 15-ти метровую комнату в коммунальной квартире в доме 23 на улице Погодинская. Сестре было два года, и мама забеременела вторым ребенком, то есть мною. Отец привык довольствоваться малым, но мама отказалась въезжать в эту комнату. Она не представляла, как они там поместятся вчетвером. Взяла Аталию (в семье ее называли Ася) и уехала к своей маме в Краснодар. Две недели спустя родилась я, и мама вернулась в Москву. (Отцу выделили еще одну 10-ти метровую комнатку в той же квартире.). В отсутствие отца мама дала мне имя Нина. Папа давал детям библейские имена.

- В детстве вы сталкивались с антисемитизмом? Когда почувствовали – я еврейка?

- Впервые я столкнулась с недоброжелательным отношением к евреям во время войны, в эвакуации, в Караганде. В первый день приезда мама послала меня за хлебом. Хлебный ларек был довольно далеко от дома, и когда я пришла, он уже закрылся на перерыв. Было жарко, около ларька сидели на земле несколько мужиков. Как я поняла потом, это были ссыльные крестьяне. Они сказали, что ларек скоро откроется. Возвращаться не хотелось. Я осталась стоять перед компанией грубых и неопрятных мужчин. – Откуда ты? – спросил один. – Из Москвы. – Ну, а кто ты? – Москвичка, - А по нации?



Обложка книги Нины Прейгерзон, в оформлении которой использовано фото Нины на улице имени отца в Тель-Авиве

Мне тогда не исполнилось и одиннадцати, но я кожей ощутила, что они ждут ответа: "еврейка", и что в их представлении это что-то очень плохое. – Москвичка! – упрямо повторила я, сделав вид, что не поняла вопроса... В Караганде приходилось слышать печально известные антисемитские байки. Например: "евреи отсиживаются в хлебных местах".

Осенью 1944-го мне исполнилось четырнадцать. Вскоре после этого папа принес домой свежий 11-й номер журнала "Знамя". Он открыл его на странице, где начиналась повесть Василия Гроссмана "Треблинский ад". – Это вы должны прочитать, - сказал он мне и Аталии. "Треблинский ад" перевернул мою детскую душу. Пожалуй, это было самым сильным впечатлением из всех, которые когда-либо влияли на мою последующую жизнь. Я внезапно ощутила себя частью еврейского народа. Эту повесть можно считать беспримерным подвигом Гроссмана, великим прорывом в советской литературе. Увы, прошло совсем немного времени и подобные публикации попали под запрет.

- Аталия и вы стали врачами. Это был ваш выбор?

- В 1946 году Аталия окончила школу с серебряной медалью. В то время медалистов принимали в вузы без экзаменов. Асе нравилась физика, и она хотела поступить на физфак МГУ. Но родители категорически возражали. Когда она собралась идти подавать документы, родители заперли ее в комнате. Папа сказал: "Если ты когда-нибудь окажешься в Израиле, то как врач всегда найдешь работу".

Это было сказано в 1946 году! Спустя тридцать лет, приехав в Израиль и сразу получив место

врача, сестра вспомнила о пророческих словах папы. Так же и я, репатриировавшись через два года после нее, быстро нашла в Израиле работу.

- Когда вы стали участвовать в сионистском движении? Расскажите, пожалуйста, о своем визите к Илье Эренбургу.

- Осенью 1948 года я поступила во 2-й Московский медицинский институт и вскоре после начала учебы стала участвовать в сионистской деятельности. В начале сентября у нас дома отец и его ближайший друг Цви Плоткин спросили, хочу ли я пойти вместе с делегацией еврейской молодежи к Илье Эренбургу, просить его содействия в оказании посильной помощи молодому еврейскому государству. Я сразу согласилась.

При жизни Соломона Михоэлса с подобными просьбами обычно обращались к нему. Но после его гибели предполагалось, что эту функцию возьмет на себя Илья Эренбург. Я поговорила с близким другом нашей семьи, моим товарищем Толей Няньковским. Он тоже согласился без малейших колебаний. (Врач Анатолий Няньковский репатриировался в Израиль в 1974 году.) Третьим стал Леопольд Выдрин, студент филологического факультета МГУ.

С конспиративными ухищрениями, рассказывать о которых заняло бы слишком много времени, мы вошли в подъезд дома напротив Моссовета. В нем жил Эренбург. Поднялись на несколько этажей. Лифтом не пользовались. Плоткин остался внизу. Мы позвонили в точно назначенное время. Дверь открыл сам Илья Григорьевич. Было понятно, что он нас ждал.

Эренбург сразу начал говорить, не задавая предварительных вопросов. Цви Плоткин заранее договорился с нами, о чем желательно говорить каждому. Толе Няньковскому предстояло сказать о сборе денег и другой материальной помощи среди евреев СССР в пользу Израиля. Я, как медик, будущий врач, должна была просить разрешение на сбор медикаментов и перевязочного материала для воюющей еврейской страны.

Но ведущим в нашей тройке был Леопольд Выдрин, филолог, взрослый и зрелый человек. Он говорил с Эренбургом уверенно и убежденно. Напомнил о нарастающем после войны антисемитизме, о настроениях еврейской молодежи, о необходимости оказать помощь Израилю.

Анатолий Няньковский заговорил о трагедии, которая произошла с евреями СССР во время войны, свидетелем которой он был. Мать Толи погибла в гетто в Западной Белоруссии, а он с отцом бежал оттуда и сражался в партизанском отряде. Толя говорил об усиливающемся антисемитизме, о том, что нужно оказать материальную и моральную помощь молодому еврейскому государству. Эренбург выслушал его и ответил, что Толя еще очень молод и многое поймет лишь со временем.

Я сидела, как на иголках. Улучив минутку, я попросила разрешение на сбор медикаментов. Но мои слова повисли в воздухе. Эренбург никак не отреагировал на них.

Через полчаса Эренбург встал, давая понять, что визит окончен. Что же все-таки сказал нам Эренбург? Он сомневался в нашем праве на сочувствие Израилю, как еврейскому государству. Главное, - сказал он, - заключается не в том, что Израиль – еврейское государство, а в том, каким оно станет. Будет ли эта страна дружественной, социалистической, или, напротив, капиталистической, враждебной нашему советскому строю. И поскольку уже ясно, что развитие Израиля идет по буржуазному пути, то и у евреев Советского Союза не должно быть ничего общего с этой капиталистической страной... Нам стало обидно, что такой замечательный писатель и борец за мир высказал официальную позицию советской власти.

- Вас, дочь писателя, никогда не тянуло писать стихи, рассказы?

- Как-то в детстве я похвасталась, что написала стихотворение. Папа сказал: "Давай, прочти!" Я с радостью прочла свое "гениальное" творение про елочку, Деда Мороза и пионеров-октябрят. – Да-а, - протянул отец, - нет у тебя писательского таланта... жаль. Потом я нарисовала лошадь. – Дай-ка взглянуть, - сказал он. Я протянула ему альбом с первым рисунком. Папа посмотрел и перевернул страницу – она была чистая. – Эта самая лучшая страница в твоём альбоме!

А теперь – главное. Мы не знали, даже представить себе не могли, что наш отец, ученый, автор изобретений, педагог, кроме научных трудов по обогащению угля, пишет по ночам, да еще на иврите (!) литературные произведения.

Впервые я узнала об этом во время войны, в Караганде. В большом томе "Капитала" Маркса, который я случайно сняла с книжной полки, между строчками был вписан мелким отцовским почерком какой-то текст – как я поняла, на иврите.

... Расскажу вам о еще одном эпизоде. Папу пришли арестовывать первого марта 1949 года. Мы с сестрой стояли ошеломленные и потерянные, со слезами на глазах. Наш младший брат не проснулся. Мама быстро собрала папины вещи, завернула их в одеяло. Отец поцеловал нас, маму и спящего сына. И его увели...

- Сколько лет отсидел ваш отец?

- Заключение отца вместо 10 лет, на которые он был осужден, из-за смерти Сталина длилось шесть лет, девять месяцев и двенадцать дней. Мы: мама, я с мужем, друзья встречали его в Москве, на Северном вокзале. Ждали такси. Вдруг к нам подошел пьяный мужчина лет сорока и громко сказал: "Эй, жида, е... вашу мать, вы чего тут собрались?" Но я продолжу...

После того, как папу увели, обыск длился еще долго, до самого утра – просматривали каждую бумажку. Увидев рассыпанные на полу папины фотографии, я захотела подобрать хотя бы одну,

на память, так как готова была к самому худшему. Я решила незаметно, как бы нечаянно наступить ногой на фотокарточку и поднять ее, когда оперативник отвернется. Но раздался громкий окрик... Они перевернули все комнаты, но не нашли ни клочка бумаги с еврейскими буквами. В ожидании ареста папы мама спрятала весь его архив на подмосковной даче наших знакомых.

- Вероятно, чекисты поленились перелистать "Капитал"...



Дети, внуки и правнуки Цви Прейгерзона на улице его имени в день ее открытия 30.03.2008

- Папа оберегал нас. Он понимал, что даже само знание иврита – в СССР почти преступление. Его арест и ссылка принесли нам много горя, и чувство вины, которое отец испытывал перед семьей, заботы о нашем благополучии вынуждали его держать в тайне от детей, что он пишет литературные произведения на иврите, свою связь с сотрудниками израильского посольства (одним из послов Израиля в СССР был его двоюродный брат, генерал, дипломат Йосеф Авидар), ни о напечатанных в Израиле книгах. Мы даже не слышали, что у него там появился псевдоним "А. Цфони". Помню, как Израиль Борисович Минц, живший в 20-х годах в Палестине, инженер, отсидевший за сионизм много лет в лагерях, хорошо знавший папу, ахнул, увидев в 1972 году его архив: "Так ваш отец был ивритским писателем!"

- У кого и когда вы начали учить иврит в Москве?

- Помимо двух устных уроков, который успел дать мне отец, со мной провел несколько занятий Израиль Минц. Мы занимались по учебнику "Элеф милим" ("Тысяча слов"). Наконец-то я хоть чуть- чуть познакомилась с таинственным языком, на котором говорили мои предки и писал мой отец. Второй курс иврита, уже профессиональный, я прошла с известным активистом еврейского движения Михаилом (Микой) Членовым.

- Перезахоронить прах отца в Израиле – решение семьи?

- Это решение отца. Последними его словами были те, которые мы неоднократно слышали от

него: "Дети, кремируйте меня, поезжайте в Израиль и похороните меня там".

О том, как мы пересылали урну с его прахом в Израиль, как сохранили и тайно отправляли, вывезли его архив в Израиль я подробно написала в книге воспоминаний "Мой отец Цви Прейгерзон". Не стоит повторяться. Расскажу о том, как необычно закончились папины похороны в Москве, в 1969 году.

Кремация происходила на территории Донского монастыря. Для меня было неожиданным увидеть, помимо родственников и близких друзей, пришедших проводить отца в последний путь, множество посторонних людей солидного итээровского вида. В зале крематория у стены стояло множество венков с траурными лентами от различных учреждений.

Отец никогда не рассказывал нам, какой любовью и уважением пользовался он в своем институте, сколь высоко его ценили как специалиста. Об этом мы узнали лишь слушая траурные речи. Мы получили сотни телеграмм из Донбасса, Воркуты, Караганды. Три поколения инженеров выросли на его учебниках. Один из друзей отца сказал: "Гриша, ты обогащал не только уголь, ты обогащал наши души!"

После того, как закрыли черный проем и отзвучала музыка Шопена, люди направились к выходу. И тут кто-то из наших друзей – Израэль Минц?.., Меир Гельфонд?.., Йосиф Керлер?.. – вдруг воскликнул: "Берите венки!", и уверенно двинулся в сторону, противоположному выходу. И мы все, родственники и друзья, подчиняясь необъяснимому порыву, подхватили венки и последовали за ним. За нами двинулись и все остальные.

Мы вышли на кладбище крематория. Ноги скользили в тающем мартовском снегу. Через несколько минут идущие впереди остановились возле могилы Соломона Михоэлса. Вся инженерно-техническая часть процессии, как по команде повернула обратно.

Так необычно закончились папины похороны в Москве: министерские венки, предназначенные Прейгерзону – писателю, инженеру и ученому, – остались у могилы Михоэлса, где еврейская душа отца, казалось, обрела заслуженный покой.

- Вы написали интересную книгу воспоминаний, но, согласитесь, после того, когда столько написано о вашем отце, трудно найти новые факты в его биографии, раскрыть новые грани его творчества.

- Да, вы правы, об отце уже довольно много написано и рассказано, да и объемистый массив его изданий говорит сам за себя. Вот передо мной лежат на столе его книги, научные статьи, учебники, воспоминания друзей и близких...

Если в Москве много сил потрачено на сохранение и пересылку архива отца в Израиль, то в

Израиле пришлось приложить не меньше усилий для перевода с иврита на русский и издания его произведений. Очень скоро в издательстве "Сифрият ха-поалим" будет издана книга воспоминаний "Мой отец Цви Прейгерзон", которую написала я, а перевели на иврит Мириам и Рахель Торпусман. Ее издание тоже потребовало больших усилий.

В тель-авивском музее "Бейт ха-Тфуцот" открывается экспозиция, посвященная советскому еврейству. Мы передали туда некоторые вещи отца, в т.ч. его скрипку, портрет, написанный в лагере одним из заключенных.

... Отчего же в моем сердце все еще живет щемящее чувство неудовлетворенности? Возможно, оттого, что кроме меня, некому уже рассказывать о его душевных качествах, скромности, благородстве, мягком юморе, человеческом обаянии. Потому что и теперь, когда я уже намного старше его смертного возраста, образ папы по-прежнему живет в моем сердце, и мне по-прежнему трудно сдержать волнение...

Предлагаем читателям «МЗ» познакомиться с одним из замечательных рассказов Цви Прейгерзона «Иврит»



Прошло много дней, но моей войне со следователем не было видно конца. Впрочем, какая между нами могла быть война! Воевать со мной следователю было легко и просто — ему же государство помогало, система! Вот он и свирепствовал как хотел. А что мог я? Замученный и беззащитный, брюки висят — вот-вот упадут, если их не держать... Кругом железо, решетки... И пудовая дверь, за которой круглые сутки бдит мой «страж». День и ночь он ходит по коридору, и шаг его тверд, как поступь державы! Постоянно, в одно и то же время, клацает железный волчок, — мое окно в мир, — я и поныне вздрагиваю, вспоминая его скрипучий резкий звук. .

Мой следователь — коренастый, приземистый мужик. Желтоватое лицо его — ни то ни се, так себе, никакое. Смотрит, будто хочет пронзить тебя взглядом. С ним-то мы и «коротаем» все эти долгие ночи, полные жуткой яви....

Который день продолжается мой поединок со следователем. В его распоряжении – все мыслимые средства подавления, мои руки пусты.

Он позаботился о том, чтобы я остался в полном одиночестве, без малейшей связи с окружающим миром. Моя камера черна и тесна, толстый стальной лист приварен к окну ее изнутри, наклонная стальная решетка – снаружи. В мощной железной двери – дырка глазка. Днем и ночью расхаживает по коридору дежурный надзиратель. Его шаги размерены и ровны, как щелчки метронома; через равные промежутки времени открывается и снова захлопывается глазок. До сих пор меня пробирает озноб при воспоминании об этом едва слышном шорохе.

Спустя несколько лет после окончания великой резни, в которой погиб каждый третий еврей из тех, что населяли к тому времени планету Земля, в 1948 году было провозглашено государство Израиль. И тут же к этому малому клочку земли устремились помыслы, благословления и надежды евреев всего мира. Евреи Советского Союза не стали исключением. Власти взирали на это явление с явным неодобрением. В стране царил тогда культ личности, и всем гражданам предписывалось падать ниц перед одним и только одним портретом-иконой. Любой отход от нормы поклонения жестоко наказывался. Огромную страну накрыла густая сеть тюрем и исправительно-трудовых лагерей, вздохи и стоны слышались со всех концов. Берия, Абакумов и мощный аппарат палачей из МГБ, министерства госбезопасности, систематически уничтожали людей.

В этих условия власть решила положить конец и «националистическим» настроениям среди советских евреев. Были уничтожены еврейские газеты, книжные издательства, Еврейский Антифашистский Комитет. Под запрет попали еврейские писатели. Начались массовые аресты невинных людей. Подхватила и меня эта волна – подхватила и бросила в черную тесную камеру. В камеру и в кабинет желтолицего следователя, моего единственного собеседника и противника. Вся еврейская культура сидела тогда по тюрьмам, а коли так, то власти не могли обойти и нас – ее учеников и радетелей.

Из некогда большого количества любителей иврита уцелели к тому времени лишь считанные единицы. Кого-то арестовали, кто-то ушел в мир иной, кто-то уехал в Землю Израиль, и связь с ним прервалась по понятным причинам. Рядом со мной остался лишь Шмуэль, мой старший товарищ. А чуть позже прибил к нам новый приятель Шрага Вайсфиш. Это был странный парень; в его глазах мне сразу почудилось что-то мышиное.

Официально Шрага звался Сергеем Владимировичем, Сережей. Он без устали мелькал в каждом месте, где чувствовался хотя бы намек на существование живого еврейского духа. И уж конечно, запросто бывал в доме Шмуэля и других знакомых евреев, в том числе, и в моей московской квартире.

Я был тогда по макушку загружен на работе и потому не имел возможности присмотреться к Вайсфишу с должным вниманием. Симпатия, которую проявлял к нему Шмуэль, показалась мне достаточным свидетельством Серезиной порядочности. Когда мы собирались втроем, Шмуэль и я говорили между собой на иврите. Сереза слушал, но явно ничего не понимал.

Вскоре он попросил меня дать ему хотя бы несколько уроков языка. Я ответил согласием, и с тех пор на протяжении двух лет Вайсфиш дважды в неделю бывал в моем доме в качестве гостя и ученика. Язык был чужд ему и звуком, и смыслом, поверхностные знания и весьма средние способности тоже не помогали делу. Тем не менее, по прошествии некоторого времени Сереза уже мог кое-как говорить на иврите. Не скрою, я гордился его успехами, в которых была немалая толика моих учительских усилий.

Как правило, Вайсфиш приходил ровно в то время, когда начиналась трансляция новостей по «Голосу Америки» – радиостанции, которая в Советском Союзе считалась клеветнической. Чем больше антисоветчины содержалось в той или иной передаче, тем больше она нравилась Серезе.

В конце 48 года он попросил дать ему почитать на дом какой-нибудь из моих ивритских рассказов. Я снова согласился. Тягой к написанию рассказов на иврите я заболел еще в юношеские годы, и со временем это увлечение превратилось в необходимую потребность. Вайсфиш знал об этой моей слабости.

Неделю спустя он вернул мне рассказ в сопровождении нескольких комплиментов. Дело было в разгар борьбы Израиля за выживание. Семь арабских стран объявили войну только что провозглашенному еврейскому государству. При этом позиция СССР по отношению к начавшемуся кровопролитию выглядела не вполне ясной. Тем не менее, после речи Громыко на Ассамблее ООН, в которой наш посол поддержал создание Израиля, и уж тем более после открытия официальных представительств в Москве и в Тель-Авиве, советские евреи почти не сомневались в дружественном подходе кремлевских властей.

В июне 48-го в Большой московской синагоге состоялось по этому поводу празднество при огромном стечении народа. Внутри здания поместились далеко не все, многие стояли на улице. Синагогу украсили зелеными ветвями, а на широкой ленте, натянутой поперек фасада, было написано ивритскими буквами: «Ам Исраэль хай!» – народ Израиля жив! Заслушав ряд торжественных речей, собрание постановило послать приветственные телеграммы товарищу Сталину, товарищу Бен-Гуриону, а заодно и Главному раввину молодого еврейского государства. Затем в исполнении хазана и синагогального хора прозвучали приличествующие случаю напевы – в том числе, поминальная молитва «Изкор» в память жертв гитлеризма.

В Москву прибыла Голда Меерсон, первый посол Израиля в СССР. По субботам и праздникам

она посещала городскую синагогу, и тысячи евреев собирались там, чтобы посмотреть на нее. Волнение было велико. Многие молодые люди изъявляли желание немедленно отправиться в Землю Израиля, чтобы принять личное участие в защите страны евреев.

Но уже осенью начались аресты. Меня доставили во внутреннюю тюрьму на площади Дзержинского, а несколько дней спустя перевели в другое место заключения. Так я попал в темную и тесную одиночку. Прошло еще немного времени, и эта камера превратилась в средоточие всей моей жизни. Камера и кабинет следователя.

Сначала он долго требовал, чтобы я рассказал ему о причинах моего ареста. Ведь, как известно, невиновных у нас не сажают, а значит, что-то со мной не в порядке.

– Гражданин следователь, – говорил я. – Вы меня арестовали, вы и должны объяснять, за что и почему. Ваше желание получить это объяснение от меня кажется странным.

В ответ следователь раздражался руганью, называя меня врагом народа, диверсантом и предателем Родины. Он кричал, что любые мои попытки скрыть подрывную деятельность заведомо обречены на провал, ведь следствие располагает неопровержимыми доказательствами моего преступного национализма. Что если я немедленно не раскаюсь, то он покажет мне, где раки зимуют.

Он брызгал слюной, глаза его метали молнии. Но я действительно понятия не имел, в чем заключается мой проступок. Поэтому я просто молчал.

Молчал, хотя мне и очень хотелось бы поговорить после многих часов, проведенных меж черных стен постылой одиночки, среди полной тишины, нарушаемой лишь мерными шагами надзирателя и шелестом приоткрываемого глазка.

На допрос водили ночами, каждую ночь. Стол следователя стоял в глубине комнаты, а подследственному отводилось место возле двери: стул и маленькая круглая подставка для письма, хлипкая, вся покрытая засохшими чернильными пятнами. Временами мне казалось, что она вот-вот рассыплется под грузом вздохов тех, кто сидел здесь до меня в бессонные ночи допросов.

Почти все черные дела совершаются по ночам, когда веки детей смежены сном. Так и мои свидания со следователем начинались в половине одиннадцатого и заканчивались в пять, уже на рассвете. Однажды, завершив обычную порцию ругательств, он вдруг сильно лягнул меня сапогом. Удар пришелся по бедру и стал для меня полной неожиданностью.

Обычно по возвращении в камеру я сразу ложился, чтобы не терять ни секунды из оставшихся

драгоценных минут сна. Сигнал подъема в тюрьме звучал в шесть, а затем спать не разрешили. Ложиться запрещалось, но не получалось и заснуть сидя: надзиратели строго следили за тем, чтобы глаза заключенных оставались открытыми. Поэтому нам предписывалось постоянно сидеть лицом к дверному глазку. Стоило зажмуриться, как раздавался громкий стук в дверь, сопровождаемый грубой площадной руганью. Допрос, продолжающийся до пяти утра, оставлял на сон меньше одного часа в сутки.

Так проходила неделя за неделей. Зато у меня было достаточно времени, чтобы подумать о своем положении. В то утро, вернувшись в камеру после полученного пинка, я хорошенько обдумал случившееся и пришел к выводу, что удар сапогом не предвещает ничего хорошего. Пнув меня один раз, следователь, несомненно, намерен и дальше продолжать в том же духе. Я искал способ продемонстрировать ему, что не намерен мириться с избиением.

На следующую ночь меня привели в другую комнату, которая казалась намного меньше привычного кабинета. Да и следователь выглядел иначе: нарядно одетый, он сидел за столом и просматривал бумаги. Меня усадили на стул у двери. Не прошло и нескольких минут, как вошел незнакомый полковник и сразу стал задавать вопросы о моем поведении. Следователь отвечал, что веду я себя отвратительно, не даю показаний и отказываюсь раскаяться. Полковник обернулся и, выкатив глаза, смерил меня удивленным взглядом с ног до головы.

– Мы ж тебя в порошок сотрем, – сказал он. – Раздавим физически. Ты, верно, понятия не имеешь, куда тебя привезли.

Затем он широко размахнулся и с силой ударил меня кулаком, раз и другой. Удары пришлось по ушам, меня качнуло сначала к одной стене, затем к противоположной. Кабинет закружился перед моими глазами, туман окутал оглушенную голову, как толстый слой ваты. Звуки едва прорывались ко мне. Полковник что-то тихо сказал желтолицему следователю, и я каким-то чудом расслышал его слова, несмотря на вату и непрекращающийся звон в ушах:

– Давай-ка сходим в буфет!

Он повернулся и, весьма довольный собой, направился к двери.

– Гражданин полковник, – проговорил я, – разрешите обратиться.

Полковник еще больше выкатил глаза:

– Ну?

– Вчера гражданин следователь, а сегодня еще и вы подвергли меня избиению, – продолжил я.

– Как известно, подобные методы воздействия запрещены в нашей стране. Я прошу разрешить мне свидание с прокурором.

Он коротко хохотнул и огорошил меня мощным ударом в левый висок. Тонкая струйка крови поползла по моей щеке. В глазах потемнело, и из темноты снова послышался голос полковника. Он почти теми же словами повторил сказанное прежде, добавив, что им и без моего признания известны все детали моих преступлений. Затем полковник перешел на чисто матерный диалект русского языка и многократно помянул мою мать и весь мой род до пятого колена, включая дальних внучатых дядьев и троюродных кузенов. Желтолицый услужливо добавил многоэтажный каскад ругани со своей стороны стола.

– Гражданин полковник, – сказал я, когда они израсходовали весь запас непристойностей. – Поскольку вы упорствуете в применении недозволенных методов следствия, а также издеваетесь над русским языком, оскверняя грязной матерной руганью эту святыню, сотворенную великим Пушкиным, великим Тургеневым и другими титанами духа, я заявляю, что отныне отказываюсь говорить здесь по-русски и требую, чтобы следствие велось на моем родном языке, коим является иврит, язык моего народа.

Полковник перевел дух и несколько раз сглотнул.

– В карцер! – скомандовал он.

Следователь нажал на кнопку, вошел охранник.

Карцер оказался крошечным, похожим на шкаф полуподвальным помещением с асфальтовым полом, размером два на три шага. Внутри – густая мгла и узкая неудобная скамья. Прежде чем втолкнуть туда заключенного, надзиратели сдирают с него почти всю верхнюю одежду. Оставшись в одной сорочке, я почти сразу почувствовал, что дрожу от холода. Кормили здесь еще хуже, чем в камере: триста граммов хлеба и две кружки воды. Я был не один здесь, в этом полуподвале: вдоль узкого коридора располагался длинный ряд таких же шкафов, и время от времени оттуда доносились крики, стоны и проклятия. Я не кричал. Трое суток провел я в карцере, в глухом молчании, наедине с непроглядной мглой. Я не кричал – лишь дважды в день, утром и вечером, истово, как молитву, повторял одно и то же: – Клянусь, всем, что свято, клянусь всем, что дорого, клянусь, что буду говорить только на иврите.

Я шептал эти слова стоя, сжав кулаки и закрыв глаза, собирая в единый комок все силы своей души и помещая их в эту клятву, как в самый надежный ларец.

Трое суток спустя, в третьем часу ночи меня снова повели на допрос. Резкий переход от пронизывающего холода карцера к хорошо натопленному кабинету следователя странно подействовал на мой организм: меня стала бить дрожь, крупная и неудержимая, до клаянця зубов.

– Ну? – поинтересовался следователь, когда я уселся за шаткий столик. – Теперь разговорился?
– Квар амарти, – сказал я, тщетно пытаюсь унять проклятую дрожь, – ки медабер ани ах иврит .
– Ах так?! Я заставлю тебя говорить по-человечески! – воскликнул желтолицый и нажал на кнопку звонка.

Как обычно, он сопровождал это действие доброй порцией мата. В комнату ворвались пять или шесть охранников. По правилам, заключенный обязан вставать, когда в комнату входит офицер, поэтому я автоматически поднялся на ноги. Меня по-прежнему била дрожь, ноги подламывались, но рассудок был ясен и спокоен, как солнечное утро. Оскалившись, они сгрудились вокруг меня, как стая волков.

Затем вбежал пучеглазый полковник и, не мешкая, подскочил ко мне.

– Ну, будешь говорить?
– Иврит...

Я едва успел произнести это слово, прежде чем он пустил в ход кулаки – с правой, с левой, с правой, с левой... По лицу потекла кровь, зато дрожь странным образом унялась, как будто отключенная кулаками полковника.

– Будешь говорить?
– Иврит... ах верак иврит ...

На меня посыпался град зуботычин – по лицу, по затылку, по шее, по телу... Швыряемый из стороны в сторону, от кулака к кулаку и от сапога к сапогу, я думал лишь о том, как не упасть. Хрустнул, выворачиваясь из десны, сломанный зуб.

– Мы тебе покажем! Говори! – слышалось сквозь объявшую меня пелену. – Говори!
– Иврит! – выкрикивал я в ответ. – Ах верак иврит! Иврит!

Святое слово вылетало из моего разбитого рта вместе с брызгами крови. Мне казалось, что одно его звучание помогает, придает сил. За раскрытой дверью мелькнула чья-то тень и тихий голос произнес:
– Хватит.

Избиение прекратилось. Мои мучители вышли, я вновь остался наедине со следователем. Сев на стул, я выплюнул на ладонь обломки зубов и протянул руку вперед.

– Хинэй эт шэйни шаварта, тальян невели ... – сказал я желтолицему.

– А вот не будь проституткой, и бить не будут, – ответил он неожиданно мягко.

Следователь вытащил папиросу и закурил. Я смотрел на него и знал, что соотношение сил поменялось в мою пользу. Еще бы: ведь я понимал каждое его слово, в то время как он тщился угадать сказанное мной.

– Гражданин следователь! – проговорил я на чистейшем благодатном иврите. – Гражданин палач! Неужели ты действительно полагаешь, что сможешь сломать меня таким способом? Прими в расчет, гражданин Амалек, что за моей спиной стоят многие поколения отцов, дедов и прадедов, которые привыкли напрягать все силы души и тела в борьбе с такими подлецами, как ты, гражданин Аман. Я еврей, сын Израиля, и в этом заключается мое единственное преступление. Тебе поручили уничтожить меня, стать моим ангелом смерти. И ты уверен, Аман Погромыч, что я непременно должен подчиниться тебе, сдаться, упасть на колени, пресмыкаться в грязи, вылизывать твои сапоги, сапоги повелителя и господина. Но я плюю на тебя, слышишь? Плюю и обещаю, что даже в этой стране найдется достаточно крепкий сук и петля для тебя и подобных тебе.

Так говорил я, спокойно и уверенно, с наслаждением вслушиваясь в звуки любимого языка и сжимая в кулаке осколки сломанного зуба. Я говорил, а невысокий желтолицый человек в форме майора и в хорошо начищенных сапогах слушал. На лице его застыло задумчивое выражение. Когда я замолчал, следователь некоторое время сидел неподвижно, затем встряхнулся, тусклым голосом произнес несколько матерных ругательств в адрес своего господина-бога и матери – то ли моей, то ли божьей – и вызвал охранника. Меня отвели в мою черную камеру.

В карцере не давали воды для умывания, поэтому я первым делом сполоснул руки, смыл кровь с лица и тела и только потом лег спать. На этот раз судьба подарила мне необычно много времени для сна – целых полтора часа. В шесть, как всегда, послышался грохот сапог надзирателя и ненавистный крик: «Подъем!». Некоторое время спустя, опять же, как всегда, принесли еду: пайку хлеба, кусочек сахара и кружку кипятка. Бодро двигая саднящими челюстями, я жевал свой немудреный завтрак, и на душе моей было хорошо. Я чувствовал, что одержал победу над силами зла.

Подошел вечер, и в половине одиннадцатого меня опять доставили в знакомый кабинет. Мы снова сидели друг против друга, разделенные пятью метрами и двумя столами, и снова звучали с той стороны комнаты ругательства, угрозы и увещевания. На этот раз угрозы касались моей семьи. Следователь сказал, что, если я продолжу упрямиться, они арестуют мою жену и дочь – да, и дочь, которой в то время исполнилось всего двенадцать лет! Девочку привезут сюда, разденут и бросят прямиком в карцер. Потому что вся моя семья состоит сплошь из националистов, предателей и врагов народа.

Я молчал, и он перешел на крик, а потом и вовсе пришел в состояние неистовства, подбежал, схватил меня за плечи и стал бить головой о стену. Перед моим носом раскачивалось его желтое лицо, горящие безумным огнем глаза, пена, запекаясь в уголках губ.

– Иврит! – выкрикнул я. – Ах верак иврит!

Выкрикнул и замолчал. Три ночи неотступно работал надо мной следователь. Богат и разнообразен был арсенал его методов – от ласковых уговоров и медоточивой лести до грубой брани, угроз и избиений. Три ночи – с половины одиннадцатого вечера до пяти утра. Он работал, а я молчал. Затем меня вдруг оставили в покое. Три следующих ночи я без помех отсыпался в своей черной камере, восполняя накопившуюся нехватку сна и гадая, что стало причиной такого послабления. Разгадка ждала меня уже на следующем допросе. Начав с обычных вопросов, ругани и угроз и убедившись, что я продолжаю молчать, следователь нажал кнопку вызова. Дверь открылась, и в комнату вошел Сережа.

Да-да, это был Сережа Вайсфиш собственной персоной, он и его мышинные бегающие глазки. Он вошел без конвоя, как свободный человек. А я как заключенный поднялся на ноги согласно тюремным правилам. Проходя к столу следователя, Вайсфиш никак не отреагировал на мое присутствие, если не считать беглого, искоса брошенного взгляда. Он уселся рядом с желтолицым, опустил на стул и я.

– Вам известен этот человек? – спросил следователь.

Я молчал, пытаюсь понять, какая роль тут отведена моему бывшему ученику.

– Он будет вашим переводчиком, – пояснил желтолицый.

Радость вспыхнула в моем сердце. Надо же! Во всем мощном аппарате МГБ не нашлось никого, кто знал бы иврит лучше этого убогого Вайсфиша! А что касается самого Сережи, подлого провокатора и стукача, то не зря с самого начала шевелились в моем сердце сомнения на его счет, ох, не зря... Само его присутствие здесь можно было считать моим успехом: чем больше следствие задействует Вайсфиша на допросах, тем меньше времени остается у него для провокаций на воле, среди пока еще свободных людей.

– Очень приятно видеть здесь этого человека, – сказал я на иврите. – Ведь именно я обучал его языку. Но у меня есть сильные сомнения в том, что он может быть полезен как переводчик. Бедняга был весьма посредственным учеником.

Вайсфиш перевел мои слова. Следователь заинтересовано наклонился вперед:

– А что, у вас были и другие ученики?

– Нет, – отвечал я по-прежнему на иврите. – Сергею Владимировичу хорошо известно, что он был единственным, кого я обучал.

Вайсфиш снова перевел. Так, мало-помалу, продвигался этот странный допрос: желтолицый задавал вопросы по-русски, я отвечал на иврите, Сережа с грехом пополам переводил сказанное.

В какой-то момент речь зашла о передачах «Голоса Америки». Я подтвердил, что, действительно, несколько раз слушал новостные программы этой радиостанции, но подчеркнул, что делал это лишь в присутствии Сергея Владимировича и по его просьбе. Вайсфиш перевел лишь первую часть моего ответа, опустив вторую.

– Ага! – обрадовался следователь. – И как же вы реагировали на эту антисоветчину?

Но я отрицательно покачал головой и обратился к Сереже – конечно же, на иврите.

– Сергей Владимирович! – произнес я возмущенным тоном преподавателя. – Потрудитесь переводить мои ответы точно и полностью!

Бегущие глазки Вайсфиша ощупали мое лицо и по-мышинному скользнули в угол.

– Эта фраза не совсем понятна, – сказал он, искоса взглянув на следователя.

– Коли так, то незачем было соглашаться на должность переводчика! – отрезал я. – Будьте добры перевести мои показания еще раз. Я утверждаю, что прослушивание «Голоса Америки» производилось по вашей инициативе.

Вздохнув, Сережа перевел мои слова.

– Это, конечно, неправда, товарищ майор, – добавил он от себя.

– Видишь, каков ты, мерзавец, мать твою так и разэтак! – воскликнул желтолицый. – Не стесняешься клеветать на своего лучшего друга в его присутствии!

Я промолчал, хотя упоминание о «дружбе» задело меня. Возможно, следователь специально приволок сюда Вайсфиша в качестве толмача, чтобы продемонстрировать, каким дураком я оказался во всей этой истории. В самом деле, со стороны это выглядело нелепо: я сам вырыл себе яму, обучив ивриту агента госбезопасности. Теперь они использовали мою работу с двойной пользой для себя!

Допрос тем временем продолжался; следователь по-прежнему разрабатывал тему

антисоветских радиопередач и их последующего обсуждения. Мои ответы были правдивы. Я настаивал на том, что обсуждения как такового не было: свое мнение по поводу услышанных новостей высказывал исключительно гражданин Вайсфиш, хотя и в моем молчаливом присутствии. И снова Сережа перевел мой ответ, сопроводив его той же добавкой:

– Это неправда, товарищ майор...

Следователь вскочил в крайней степени раздражения. По опыту я уже знал, что одними словами тут не обойдется. И действительно, желтолицый, изрыгая брань и угрозы, подбежал ко мне и отвесил несколько оплеух. В промежутке между ударами я бросил взгляд на Сережу. Он сидел нога на ногу, слегка развалившись на стуле, и наблюдал за происходящим с выражением полнейшего равнодушия.

Два года. Два года этот человек как минимум дважды в неделю приходил в мой дом, ел мой хлеб, принимал чашку чая из рук моей жены. А затем возвращался домой и писал подробный отчет своему МГБ-шному начальству. И вот теперь эти отчеты, подшитые в толстое досье, лежали на столе желтолицего следователя, и тот, время от времени справляясь с их содержанием, задавал мне вопрос за вопросом. Этот ночной допрос был для меня всемеро тяжелее карцера.

Когда меня наконец отвели в камеру, я долго лежал без сна и размышлял над своим положением. Я уже повидал в тюрьме многих своих братьев, и среди них тех, кто был полностью раздавлен тяжестью допросов, унижен и уничтожен презрением и грубой жестокостью следователей. Я встречал брошенных в карцер узников Сиона, смотрел в испуганные глаза их родных и близких, слышал их немой плач во мгле сырых, похожих на гробы камер. Из следственных кабинетов доносились до моих ушей звуки ударов и стоны избиваемых. Но теперь перед моим мысленным взором стояла лишь мышинная физиономия Вайсфиша, папироска в углу его тонкогубого рта, нога, которой он скучающе покачивал, сидя на стуле.

Это ведь я, я научил его ивриту! Я подготовил этого шакала для волчьей стаи, усовершенствовал его опыт, привил ему нужные навыки. Теперь он наверняка считается большим специалистом. Скорее всего, по окончании моих допросов его направят на более ответственную работу, требующую знание иврита. А сейчас? Что получается сейчас? Получается, что я продолжаю обучать его, делать ему карьеру. На свободе я учил подлеца ивриту дважды в неделю; зато теперь даю – вернее, вынужден давать ему уроки каждую ночь! При условии, конечно, что я останусь верен своей клятве...

Лежа на тюремной койке, я сжимал кулаки от бессильной ненависти. О, эта раскачивающаяся нога, о, эти бегающие равнодушные глазки над дымком папиросы! Подлый крысеныш, доносчик и стукач, предавший всё, что свято и дорого нормальному человеку, он должен был

понести наказание! Я чувствовал, что просто не смогу жить дальше, если этот гнусный опарыш не будет раздавлен. И кто, как не я, фактически сделавший ему карьеру, обязан приложить к тому максимум усилий...

Но как это проделать? Ударить его стулом по голове? Но получится ли дотянуться? И если даже получится, будет ли удар достаточно сильным? У меня не было никакого оружия, кроме кулаков, ногтей и внезапности нападения. Для того, чтобы покушение стало возможным, требовалось полностью усыпить бдительность следователя и самого Вайсфиша.

Я стал прикидывать свои скудные возможности. Самодельный нож... Увы, в заключении меня лишили какого-либо контакта с металлическими предметами – срезали даже крючки и пуговицы с верхней одежды. Ногти... Мне вспомнилось, что когда-то я читал о женщине, которой удалось выцарапать глаза то ли неверному возлюбленному, то ли неблагодарному врачу. Но что это была за книга?

Я последовательно перебирал в памяти всех известных мне писателей и сюжеты их произведений, двигаясь систематически, по алфавиту. Буква А не принесла никакого улова. Б... Бялик... Бабель... Бренер... – нет, ничего. Гнесин... Гоголь... Грибоедов... Гамсун... Секундочку! Ну да, Гамсун, старый грешник. Как это у него? «Вот пришли и ушли дни, невинные и приветливые, прекрасные часы покоя и одиночества, полные чистых воспоминаний о детстве, о возвращении к земле, к небу, к прозрачному горному воздуху». Теперь я почти не сомневался, что выцарапанный глаз должен найтись в одной из книг прочитанной мною трилогии: либо в «Августе», либо в «Скитальцах», либо в «А жизнь идет».

Похоже, что в последнем романе есть образ волшебницы, которая ходит из дома в дом, пугая детей и их родителей. Если плюнет на порог – быть беде... Как же ее звали? Ах да, Оси. Странная женщина, красивая, но неграмотная, приглашенная женой врача, чтобы исцелить больного сынишку. Помнится, мать ребенка не очень-то доверяла врачевным талантам своего мужа. Факт, что, вернувшись домой, он очень рассердился и стал гнать Оси за порог. Тут-то она и вырвала ему один глаз...

Нет, вряд ли у меня получится последовать ее примеру. А что если очень сильно лягнуть Вайсфиша в живот, предпочтительно в область желудка? И хорошо бы при этом вооружить носок ботинка какой-нибудь тяжелой броней, чтобы удар получился действительно сокрушительным.

До этого я никогда не попадал в тюрьму и понятия не имел, как долго может продлиться следствие. Сколько времени еще есть в моем распоряжении? Поразмыслив, я назначил дату покушения месяцем позже. Прежде всего, требовалось хорошенько натренировать ногу. Но была и другая причина: дело происходило в апреле, стояли прохладные дни, и Вайсфиш

приходил на допросы в теплой одежде, которая могла значительно смягчить силу удара. Зато в мае, когда люди сбрасывают зимние ватные доспехи, ничто не помешает мне по заслугам воздать своему «лучшему другу».

В двери загремел засов – это принесли обед: суп и кашу. Обычно я удовлетворялся лишь хлебом и кашей, отказываясь от баланды, один вид которой вызывал тошноту. Но начиная с того дня я исправно проглатывал все, что приносили: теперь у меня была цель, и я не мог позволить себе ослабеть. Вдобавок я разработал целый ряд упражнений для укрепления мышц стопы, голени и бедра, а затем принялся тренировать и собственно удар.

Ночь за ночью сидел я возле двери в знакомом каждой черточкой кабинете, а напротив, в нескольких метрах от меня – гражданин следователь и гражданин переводчик. Пользуясь случаем, я тщательно изучал поведение Вайсфиша, характер его движений, положение тела. Как правило, он сидел в небрежной позе, закинув ногу за ногу, и курил папиросу. Расстояние между нами составляло около четырех шагов, что могло помешать моему плану. Если мне не удастся мгновенно преодолеть это расстояние, Вайсфиш успеет увернуться. Нужно было учитывать и то, что в ящике стола находился заряженный пистолет. Иными словами, я мог надеяться на гарантированный успех, лишь предварительно сблизившись с целью и не возбудив при этом подозрений Вайсфиша и его начальника. Напасть с близкого расстояния, сильно, мгновенно и неожиданно – так формулировалась моя задача.

А допрос между тем продолжался в прежнем неторопливом темпе. Желтолицый спрашивал, я отвечал на иврите, Вайсфиш толмачил, спотыкаясь на каждом слове. К моей радости, прогресса в его знаниях не замечалось. Я по мере сил старался скрыть свое отвращение к «лучшему другу», дабы не спугнуть его раньше времени.

Меня спрашивали, писал ли я на иврите. Я отвечал, что писал рассказы и стихи.

– Почему же вы тогда не печатались в нашей стране? – поинтересовался следователь.

Этот вопрос прозвучал более чем странно, учитывая, что все находящиеся в комнате были прекрасно осведомлены о запрете на иврит в пределах Советского Союза. Я пожал плечами и ласково улыбнулся Вайсфишу.

– Почему бы тебе не ответить самому? – сказал я ему на иврите, как бы объединяя нас обоих доверительной интонацией.

Но не тут-то было. Ушлый Сережа проигнорировал мою неуклюжую попытку к сближению. Он просто перевел сказанное желтолицему, добавив при этом, что подследственный пытается уйти от ответа. Майор, конечно же, отреагировал в ожидаемом ключе – матерной бранью по адресу

бога, души и всех матерей на свете.

«За это ты мне тоже ответишь», – подумал я, глядя на Вайсфиша и старательно удерживая на лице дружелюбную улыбку.

Внутри меня клокотала обида и бурлили едва сдерживаемые слезы.

– Вы неправильно поняли, Сергей Владимирович, – сказал я на иврите. – Я имел в виду, что не печатал свои рассказы в Советском Союзе по одной-единственной причине: мне неизвестен адрес подходящего для этой цели издательства.

Вайсфиш с серьезным видом перевел, а следователь с серьезным видом записал мой ответ. Не знаю, кто из нас троих выглядел более сумасшедшим на взгляд со стороны.

– Не знали адреса, а? – презрительно повторил желтолицый и нажал на кнопку звонка.

Как видно, настало время визита в буфет. Следователь и переводчик вышли, я остался наедине с охранником. Они отправлялись перекусить каждую ночь, примерно на полчаса. Этот перерыв был мне отдыхом; мы сидели в комнате вдвоем с солдатом и просто молчали, равнодушно и безучастно. Солдаты не принимали участия в избиениях: для того, чтобы съездить подследственному по морде, требовался как минимум офицерский чин.

Полчаса спустя в коридоре послышались шаги: вернулись майор и Вайсфиш. Я встал, как положено.

– Садись... – буркнул следователь, проходя к столу.

Переводчик шел за майором. Движения обоих были замедлены и лишены обычной уверенности. «Неудивительно, – подумал я. – Третий час ночи, полный желудок...» Стараясь ничем не выдать себя, я впился глазами в Вайсфиша. Вот он, нужный момент! Войдя в комнату, Сережа секунд на пять задержался около двери, закуривая папиросу. Еще бы: сытый живот прямо-таки взывает к высококачественному куреву. Вайсфиш курит дорогие папиросы «Казбек». Я почувствовал, что меня охватывает дрожь. Я бы набросился на него немедленно, в ту же секунду, если бы не имел твердого намерения продолжать тренировки еще некоторое время, чтобы окончательно отточить технику удара.

Я как сейчас вижу его перед собой: расслабленная поза, обе руки заняты прикуриванием папиросы, живот открыт и беззащитен.

– Садись! – повторяет следователь.

Он почти не смотрит на меня, погруженный в процесс извлечения из зубов остатков пищи при помощи спички. Вайсфиш удовлетворенно затягивается и идет к своему стулу. Удобный момент упущен, но радость наполняет мое сердце: занятые перевариванием своей ночной трапезы, они явно не ждут от меня никаких активных действий. Им кажется, что я во всем послушен их воле, тих и безобиден. Таким вот, тихим и безобидным, ты продал меня, Сергей Владимирович, меня, и Шмуэля, и еще нескольких братьев. Продал, чтобы купить коробку папирос «Казбек», чтобы сидеть здесь в вальяжной позе, закинув ногу за ногу.

Все мои дни были теперь посвящены тренировке удара, накачиванию мышц. Как правило, тюремные дни заполнены тоскливой скукой, особенно в одиночной камере. Но мое время летело незаметно, целиком подчиненное одной всепоглощающей цели. У меня появилось важное занятие, задача, надежда. Я чувствовал, какой силой наливается правая нога: она казалась мне в те недели самым важным органом моего тела.

Вот шуршит, открываясь, глазок, и я прекращаю свое дежурное упражнение. Взгляд надзирателя обшаривает камеру, особо задерживаясь на моем лице: не пытаюсь ли я спать? Пребывают ли мои веки в позиции, предписанной тюремным уставом? Не волнуйтесь, гражданин тюремщик, я бодр и силен, мне некогда дремать, мне рано расслабляться. Ненависть кипит в моем сердце, гражданин охранник – до сна ли человеку в таком состоянии? Глазок закрывается. Это означает, что перерыв закончен и можно продолжить тренировку стопы...

Так прошла неделя, за ней – другая. Я уже несколько дней чувствовал себя вполне готовым к нападению. И хотя удобной возможности пока не представлялось, я был уверен, что рано или поздно должна повториться ситуация с прикуриванием у двери, и терпеливо ждал своего часа. В своей черной камере, в перерывах между шуршанием глазка я наносил яростные удары в густую тюремную мглу, мягкую, как живот Вайсфиша. Стоило мне вообразить перед собой его мышиную мордочку, как глаза наливались кровью, сердце выпрыгивало из груди, и вся сила мышц, вся мощь душевных сил, вся тяжесть моего прошлого и настоящего устремлялись в одно-единственное место: в носок бьющей ноги. Р-р-раз!.. Два!.. Три!.. По-моему, при этом я даже выкрикивал что-то нечленораздельное.

Кончился апрель, а допросам не было видно конца. Правда, по случаю Первомайских праздников мне предоставили передышку – целых три ночи. Я хорошо выспался, накопил дополнительных сил и намеревался использовать это временное преимущество как можно скорее.

Увы, на первом же майском допросе меня ждал неприятный сюрприз: Вайсфиша не было в кабинете!

– Хватит валять дурака! – объявил мне следователь. – Говори по-русски. Не будет тебе больше переводчика.

Но его решительность казалась наигранной. Как видно, Вайсфиша загрузили каким-то срочным заданием. И все же моим планам угрожал реальный провал. Я решил молчать как рыба, упираться до последнего: тогда они будут вынуждены вернуть сюда своего грязного стукача.

Следователь те временем принялся писать протокол, слова лжи и клеветы. Он сидел, склонившись над столом и дымя папиросой, морщил узенький желтый лоб и скрипел, скрипел, скрипел пером. Мне же оставалось лишь молчать, молчать и ждать, вслушиваясь в стук собственного сердца, в коловращение мыслей, в обуревавшие меня чувства, надежды и сомнения.

Так продолжалось несколько ночей подряд: он писал, а я молча сидел в пяти метрах от него возле заляпанного чернилами круглого столика. Время от времени он поднимал голову и выстреливал каким-нибудь вопросом.

– Иврит! – коротко отвечал я.

Майор всегда реагировал одинаково: бранью и угрозами, но бить меня не пытался. Две недели спустя следователь поставил в протоколе последнюю точку и потребовал, чтобы я подписал его творение. На мой круглый столик легла стопка машинописных листков; я должен был ознакомиться с их содержанием и поставить свою подпись под каждым листом.

– Я уже неоднократно заявлял, что не понимаю по-русски, – сказал я майору. – Если вы хотите, чтобы я ознакомился с каким-либо документом, вам придется перевести его на иврит.

Говорил я, конечно, на иврите, и следователь, конечно, не понял ни слова.

– Ты что, снова намерен крутить мне мозги? – вскричал он. – Да ты говоришь по-русски лучше меня!

В полном молчании я выслушал очередной шквал матерной брани. Наконец желтолицый позвонил. Вошел солдат.

– Скажи там, чтобы позвали товарища Вайсфиша! – скомандовал следователь.

Я весь напрягся, чувства мои обострились, как у охотника, выслеживающего дичь. Мое грозное оружие, правая нога, вздрогнула, наливаясь мощной пружинистой силой. Все произошло очень

быстро. В коридоре слышались шаги, дверь распахнулась, и вошел Вайсфиш, одетый по-летнему. Я поднялся с места.

– Шалом, Сережа!

Не отвечая, он направился мимо меня к столу следователя. Я сделал полшага вперед и ударил. Вся жизнь свою, всю волю, всю ненависть, копившуюся долгими месяцами, весь свой страх и отчаяние, всю обиду, всю боль вложил я в этот страшный удар. Он пришелся, как я и задумывал, в живот, в область желудка. Вайсфиш издал утробный задущенный стон и согнулся пополам от боли и ужаса. Следователь в панике вскочил с места, всей ладонью нажимая на кнопку звонка. Вбежал солдат.

– В карцер! В карцер! – завопил майор.

Несколько минут спустя я уже сидел в темном шкафу полуподвальной камеры, потирая ушибленный носок стопы. После этого я хромал как минимум две недели. Хромота радовала меня: если я так сильно повредил ногу, то каково же пришлось животу Васйфиша...

Пять дней спустя меня снова привели на допрос. Следователь сидел за своим столом, положив руку на стопку листов протокола.

– Ну что, будешь говорить по-русски? – напряженно спросил он, когда я сел на свое место. – Или позвать Вайсфиша?

– Вайсфиш! – коротко отвечал я. – Иврит!

– Вот ведь сволочь! – с чувством произнес майор. – Будь уверен, вкатают тебе за это на всю катушку. Вайсфиш в больнице.

Вот даже как! Следователь смотрел на мое вспыхнувшее от радости лицо и покачивал головой. Готов поклясться, что в его глазах не было обычной злобы.

– Что ж, – сказал я по-русски. – По случаю такого праздника можно поговорить и по-вашему. Давайте сюда протоколы...

И начался очередной этап следствия. Споры вокруг протоколов, бесплодное упрямство со стороны жертвы и грязная ругань, матерные угрозы и прочая привычная, до боли знакомая материя со стороны палача.

Идут годы, течет-утекает своим руслом неустанное время, выходят на его берега люди, растут,

добиваются успеха, стремятся к новым и новым высотам – каждый к своей – чтобы затем упасть, усохнуть, уменьшиться до полного небытия. Судьба уготовила мне долгие годы северных лагерей, снежные морозные зимы, белые летние ночи, полярное сияние черного неба, полного звезд. А еще: щелястые бараки, набитые истощенными людьми, каторжный труд, отчаяние и надежды, безжалостную злобу и бескорыстное тепло, удивительное ощущение человеческого братства в нечеловеческих условиях.

А потом вдруг задули новые ветра, и я вернулся домой вместе с десятками тысяч таких же уцелевших. А еще несколько лет спустя повстречался мне вдруг Сережа Вайсфиш. Это была совершенно случайная встреча, вечером, на пустынной улице, где кроме нас не было вокруг никого, кроме пожилой незнакомой женщины, ковылявшей мимо по своим делам.

Нет, это был уже совсем не тот Вайсфиш. Честно говоря, я с трудом узнал его. Желтолицый, болезненно сгорбившийся, он передвигался с видимым трудом, опираясь на палку, как на костыль.

– Шалом, Сережа! – приветствовал его я, и улыбнулся, как тогда в кабинете следователя, а моя правая нога инстинктивно напряглась, готовясь к удару уже помимо моего желания.

Он взглянул на меня, и ужас узнавания вспыхнул в знакомых мышинных глазах. Сначала паника парализовала его на секунду-другую, но затем Вайсфиш опомнился, отшатнулся и бросился наутек, судорожно постукивая палкой по асфальту тротуара. А меня вдруг разобрал неудержимый смех, даже хохот. Я слышал его будто со стороны – он был громок, и груб, и невесел. Я смотрел вслед Вайсфишу и смеялся, и этот жуткий смех кнутом хлестал его по спине, по крыльям, которые словно выросли у этого червяка, спасающего свою подлую, грязную, никому не потребную жизнь. Я смеялся так, что даже прохожая старушка, ставшая случайной свидетельницей этой сцены, тоже прибавила шагу, торопливо осеняя себя на ходу троекратным крестным знаменем.

1960

Комментарии

Юлия Систер, Реховот | 10.06.2018 20:52

О Цви Прейгерзоне, учёном и писателе, я знаю давно. Он сидел в ВОРКУТЛАГе, был известен как учёный, его обширные знания были использованы и за колючей проволокой. Для Заполярья Цви как писателя на иврите открыл врач и писатель Марк Каганцов. У него есть публикации о нём. НИЦ "Евреи России в Зарубежье и Израиле" совместно с Домом учёных и специалистов Реховота провели несколько семинаров, посвящённых Цви Прейгерзону учёному, Прейгерзону писателю, книге Нины Прейгерзон. Были и другие встречи в Реховоте. Нине понравился рассказ Марка Гинзбурга о Цви. О Цви Прейгерзоне написана статья для очередной книги нашего Центра. Ещё одна грань таланта этого удивительного человека ещё не раскрыта: ведь Цви был и композитором. Замечательное интервью Владимира Ханелиса расскажет широкой публике ещё об одном достойном представителе нашего народа. Нина очень многое делает для сохранения памяти отца, для доступности его произведений русскоязычному читателю. Рассказ "Иврит" включён в школьную программу. Спасибо Нине и Владимиру за это интервью.

Александр Гордон, Хайфа | 10.06.2018 13:32

Очень хорошее интервью. Отличная профессиональная работа. Потрясающий рассказ выдающегося человека об иврите. С Ниной я познакомился 5 марта в Тель-Авиве на конференции, где был модератором секции, на заседании которой Нина сделала свой волнующий доклад. Репортаж о вышеупомянутой конференции в предыдущем номере "Мы здесь". Спасибо Владимиру, спасибо Нине. Светлая память Цви.